

СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В МЕМУАРНОЙ ПРОЗЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭМИГРАНТОВ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

© 2007 Н.Н. Кознова

Старооскольский филиал Белгородской государственного университета

Русская эмиграция первой волны — следствие тяжелых потрясений, обрушившихся на Россию в начале XX века. Наши соотечественники отказались жить и трудиться в условиях несвободы, подвергая свою жизнь и жизни своих близких смертельной опасности, поэтому и оказались на чужбине, как на «спасительном острове». Немного оправившись от пережитого, эмигранты обратили свои мысли к осознанию событий, уже произошедших и происходящих в современном им российском обществе.

Прежде всего, осмысления требовала русская революция, как событие и явление. Первая реакция людей, попавших в водоворот революционных дней, имела в большей степени эмоциональный характер. Октябрьский переворот определялся как «катастрофа», «апокалипсис», «неуправляемая стихия», «наказание Божье», «вихрь», «метель», «буря», «ураган» и т.п. Такие эпитеты в большинстве своем встречаются как в художественно-мемуарной прозе, так и в философско-публицистических работах.

Ученые, историки, политики изначально пытались дать революции научно-логическое обоснование. Ее определяли, как точку, с которой начинается отсчет новой эры, грань, между прошлым и будущим; важный политический урок для России и других стран мира; социальный эксперимент, с неизвестным финалом и т. п.

Все же эмоционально-чувственный подход и рассудочно-логический в отрыве друг от друга представлялись односторонне неполными. Для того чтобы достичь объективной оценки, необходимо накопление фактов, документов, анализ собственного жизненного опыта, с одной стороны, и глубокое изучение истории, культуры, с другой. Историческая наука Русского Зарубежья в тот момент обратилась к собиранию как можно большего количества фактов, которые, по предположению ученых, с течением времени должны вскрыть формы, проявляющие законы общественного развития.

Публицистика и мемуаристика 1920-х годов подтверждает общее увлечение эмигрантов воспоминаниями, дневниками, письменными свидетельствами очевидцев революционных событий. В роли мемуаристов выступили и рядовые граждане, и политические, и военные деятели, и профессиональные историки, и художники слова. На страницах периодической эмигрантской печати многие имена историков, философов стояли рядом с именами писателей и литературных критиков, публицистов: Милюков, Бицилли, Флоровский, Федотов, Степун, Бердяев, Зайцев, Бунин, Ремизов, Шмелев, Гиппиус, Мережковский, Адамович, Вейдле, Ходасевич и др.

Однако, несмотря на большое желание найти причины, приведшие русское общество к катастрофе, определить истоки революционности, эмигранты обращались к прошлому избирательно. С одной стороны, погружаясь в давно ушедшие времена, эмигранты пытались хотя бы на короткий срок забыть пережитые в революционные дни несчастья. Их внимание было сосредоточено на тех исторических событиях и лицах, которые возвращали душевный покой и порядок в мыслях, вызывали гордость за свою страну. С другой стороны, выходцы из революционной России не могли забыть недавнее прошлое, стремясь стать его летописцами и судьями.

В первом случае особенно привлекательными оказывались выдающиеся личности, национальные герои, повлиявшие на ход событий в отечественной истории: Владимир Мономах, Александр Невский, Сергей Радонежский, Петр I, Кутузов, Пушкин, Достоевский, Толстой и др.

Так, В. Ходасевич в ряде своих литературно-критических статей 1920–1930-х гг. («Современные записки», «Возрождение») неоднократно обращался к выдающимся классикам русской литературы: Пушкину, Грибоедову, Гоголю, Тютчеву, Толстому, посвятил отдельную статью «Слову о полку Игореве», да и в воспоминаниях о своих современниках («Некрополь») неоднократно

упоминал имена Л. Толстого и Ф. М. Достоевского, А. Фета и С. М. Соловьева, находил точки соприкосновения нового современного искусства XX века с классическим опытом века прошлого.

Однако прошлое не мыслилось в отрыве от настоящего. В мемуарной прозе Ходасевича интересовали не столько художественные достижения классиков, сколько роль и значение их творчества в современной писателю послереволюционной России. В одном из мемуарных очерков («Пролеткульт и т. п.») писатель рассказывает о попытке «продвижения в массы» Пушкина во времена Пролеткульта, когда ему пришлось читать лекции в литературной студии для молодых людей из рабочей среды, будущих пролетарских писателей. «Занятия шли успешно, — вспоминает Ходасевич, — но именно это и не нравилось верховным руководителям Пролеткульта. С их точки зрения, /.../ слушатели, из которых должны были составить кадры пролетарской литературы, должны были перенять у Пушкина «мастерство», литературную «технику», но ни в коем случае не поддаваться обаянию его творчества и его личности»¹. Поэтому, придя всего лишь на четвертую встречу со слушателями, Ходасевич узнал, что лекции отменены, а студийцы отправлены на фронт. «Настоящее» не позволяло глубоко и надолго погружаться в прошлое, приближаться к дорогим и памятным каждому русскому лицам.

Г. Иванов в мемуарной книге «Петербургские зимы» также с горечью отмечал разрыв связей между постреволюционным состоянием российского общества и духовной культурой прошлых столетий. Теперь, утверждает Иванов, слова Достоевского о великом национальном поэте: «Пушкин — наше все», не только не являются синонимами величия русской культуры, но — «просто несравнимые величины»².

Однако подобные процессы, разрыва, распада, были характерны для Советской республики 1920-х годов, эмигрантское же сообщество в обращении к отечественной истории и культуре видело путь к спасению и утверждению в западном мире, как отдельной части русских людей, так и России в целом. Не случайно Б. Зайцев в годы эмиграции обратился к созданию художественных биографий своих великих предшественников: В. А. Жуковского, И. С. Тургенева, Сергея Радонежского. Писатель мечтал представить свою родину во всей полноте национальных черт и особенностей, по его собственному утверждению, «раскрыть Россию в трех лицах: Сергей Радонежский, Тургенев и Суворов. Святой, художник и воин»³. В действительности воплотились только два первых замысла, но и этого было достаточно, чтобы явить миру красоту и мощь русского национального характера.

В мемуарной прозе («Москва», «Далекое») Зайцев, повествуя о событиях в Москве начала XX века, ощущает XIX век и лучших его представителей очень близкими своему поколению. Например, рассказывая об открытии памятника Гоголю на Пречистинском бульваре в 1909 г., мемуарист касается и некоторых сторон характера великого писателя, и отношения к нему читающей публики, и передает ностальгические чувства по любимой им старой Москве. Писатель невольно обращается к контрастной, сопоставительной композиции: «было — стало», характерной и для мемуарной книги Г. Иванова «Петербургские зимы», и для книги очерков-портретов Ходасевича «Некрополь».

«Человеческая память отбирает в прошлом только приятные и нужные воспоминания, то же происходит и с памятью групповой, в особенности, если это группа образованных людей, которые могут выразить свое восприятие прошлого в литературной форме»⁴, — утверждает исследователь русского зарубежья М. Раев. И все же, думается, причина воссоздания облика прошлой России и лучших ее представителей для мемуаристов русской эмиграции заключается не только в желании вспоминать о приятном, улаждающем душу. Обращение к личности и судьбе великих предшественников, осмысление проявленной ими на благо Отечества творческой энергии оказывало влияние на становление исторического сознания эмигрантского сообщества, вызывало гордость за свою великую Родину, подчеркивало причастность к своей земле, культуре, понимание того, что эмигранты не безродные странники, а представители великой державы. Постепенно рождалось понимание, что им есть для чего жить, за что бороться, что хранить в памяти и передавать потомкам.

По мнению Б. Зайцева, многое теперь виделось по-иному, иначе оценивалось. «Когда в самой России жили, среди повседневности, деревянных изб, проселочных дорог, неисторического пейзажа, менее это замечали», — пишет он в статье «Слово о Родине». — Теперь же «яснее, чище видим общий, тысячелетний и духовный облик Родины. /.../ Сильнее ощущаем связь истории, связь поколений и строительства, и внутреннее их ядро, отливающее разными оттенками, но в существе своем все то же, лишь вековым путем движущееся. Представляется это движение и значительнее, чем казалось раньше»⁵. Таким образом, прошлое необходимо было осознать и крепче связать с настоящим, чтобы жить дальше и понимать смысл собственного существования.

И. А. Бунин, всегда так тонко чувствовавший дух далеких исторических времен, в 1920-е годы все дальше уходит от прошлого и в «Окаянных

днях» ведет своеобразную страшную летопись революционных и постреволюционных дней в России, придавая совершающимся историческим событиям всемирный, даже вселенский размах. Революция и война — звенья одной цепи в понимании писателя, несущие за собой смерть и разрушения. На его глазах и через год, и через два после революции продолжают гибнуть люди, ведется страшная бойня, которой не видно конца, где «отец — на сына», «брат — на брата». Печально, торжественно и вместе с тем вполне современно на тот момент звучат в тексте «Окаянных дней» цитаты из «Российской истории» Татищева: «Брат на брата, сынове против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведущее, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает...»⁶

И все же, как бы ни были трагичны и мрачны страницы бунинской книги, в основе ее лежит не отрицание какой-то части бытия, определенной исторической эпохи, а утверждение целостности, единства мира и человека, веры в будущее России. «Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто?»⁷ — спрашивает писатель.

Книга И. Шмелева «Солнце мертвых» также возвращает современников писателя в недалекое прошлое. Критики Зарубежья назвали ее «откликом на революцию», «художественным документом» о страшных днях Крыма после разгрома Белой армии. Но «документ» этот, создан рукой художника, поэтому эмоциональное ощущение действительности в нем все же преобладает, но, но, несмотря на лирический размах, произведение являет собой страшную историческую летопись. Автор повествует о трагическом состоянии послереволюционной России, постепенно усиливая апокалипсическое ощущение действительности, акцентируя внимание читателя на понятиях «Конец» и «Смерть», как в смысле естественном, физическом (людей, животных, растений, самого света, солнца), так и духовном.

И. Шмелев четко определяет тот разлом, который наметился после революции между новой историей и прошлым России. «Новые творцы жизни, откуда вы?! — спрашивает он. — С легкостью безоглядной расточили собранное народом русским! Осквернили гроба святых и чуждый вам прах Благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена-лики... Самое имя взяли и пустили по миру, безымянной, родства не помнящей. Эх, Россия!..»⁸

Если «творцы новой жизни» отрезали себя от подлинной истории России, то на старой русской

интеллигенции лежала большая ответственность — сохранение памяти о прошлом для будущего. На вопрос что же делать сейчас русской эмиграции писатель отвечает: «Пока есть время надо разобраться в планах всяческого строительства. Это должное дело многих специалистов: государственных, хозяйственных, военных, педагогов, философов, ученых. Готовы ли?! Ни государства, ни хозяйства, — никакой культуры: случайность существования, развал, XIV век, послетатарщина. Нужно остановить вымирание, наметить просеки всяческого строительства...»⁹ Остановить вымирание всего живого в России означало, прежде всего, восстановить связь времен, возродить духовную культуру. Русские писатели-эмигранты пытались представить свою точку зрения на движение истории и пути дальнейшего развития России.

Д. Мережковский русскую революцию и предшествующие ей события воспринял, прежде всего, как явления духовного порядка. «Большевизм, дитя мировой войны, так же, как эта война, — только следствие глубочайшего духовного кризиса всей европейской культуры», — писал он в книге «Большевизм, Европа и Россия»¹⁰ (1921). В другой историко-публицистической работе «Тайна Трех. Египет и Вавилон» (1925) Д. Мережковский, несмотря на обращение к далекому прошлому человечества, не перестает думать о настоящем и будущем, как России, так и всего мира. В Египте и Вавилоне его интересуют провозвестия христианской религии, а христианство его привлекает как царство Духа, эсхатологически, в его проекции на будущее. «Христианство — начало Европы, и конец христианства — конец Европы»¹¹, — заключает Мережковский, надеясь, что русский человек, все-таки останется христианином в душе, несмотря на трудности и лишения, в этом писатель видит путь к будущему возрождению России.

Возрождение и рост религиозных настроений в эмигрантской среде породили интерес к истории православной Церкви и роли религиозного фактора в русской идейной и культурной жизни. В этом направлении работали Г. Флоровский («Пути русского богословия») и Г. Федотов («Святые древней Руси», «Русское религиозное сознание»). Духовные искания философов поддерживают и писатели-эмигранты.

Б. Зайцев пишет книги «Афон» и «Валаам», представляющие собой сборники мемуарно-путевых очерков, рассказывающих о путешествии писателя по святым местам православного христианства. И. Шмелев создает художественные произведения «Лето господне», «Богомолье», в статьях и воспоминаниях неоднократно касается темы русской духовной культуры, важности ее

сохранения, как в эмигрантской среде, так и в далекой теперь России.

Отношение русских писателей-эмигрантов к прошлому вполне четко выразил Б. Зайцев, определяя его так: сначала оцепенение, нежелание ни о чем думать и говорить, далее «отход к общечеловеческому и Западу», потом — созерцание издала России, вначале трагической, революционной, затем — далекой и легендарной, и позже, с течением времени, — уход в глубь времен, к Святой Руси («Молодость — Россия»).

История, философия, литература — общающиеся сосуды эмигрантской мысли в русском Зарубежье, и развивались они в одном направлении. Становится очевидным, что путь познания истины, обрисованный в мемуарной и публицистической литературе 1920–1930-х гг., в целом характерен для русских эмигрантов первой волны. Это путь — от осознания недавнего, но слишком значимого для всех, революционного прошлого России, к поискам причин социальной катастрофы и истокам возрождения утерянной духовности в русском народе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ходасевич. В. Ф. Перед зеркалом / В.Ф. Ходасевич — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — С. 288.

2. Иванов Г. В. Петербургские зимы // Иванов Г. В. Собрание сочинений. В 3 тт. — Т. 3:

Мемуары. Литературная критика. — М.: Согласие, 1993. — С. 191.

3. Городецкая Н. В гостях у Б. К. Зайцева / Н. Городецкая // Возрождение — 1931. — №2051.

4. Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919–1939 / М. Раев — М.: Прогресс-Академия, 1994. — С. 199.

5. Зайцев Б. К. Слово о Родине // Зайцев Б. К. Собр. Соч. в 3 т. Т.2. — М.: Худож. лит.; ТЕРРА, 1993. — С. 6.

6. Бунин И. А. Окаянные дни / И.А. Бунин — М.: Советский писатель, 1990. — С. 57.

7. Бунин И. А. Окаянные дни / И.А. Бунин — М.: Советский писатель, 1990. — С. 62.

8. Шмелев И. С. Пути небесные / И.С. Шмелев — М., 1991. — С. 73.

9. Шмелев И. С. Собр. Соч.: В 5 т. Т. 2. Въезд в Париж: Рассказы. Воспоминания. Публицистика. — М.: Русская книга, 2001. — С. 443.

10. Цит. по Струве Г. Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь русского Зарубежья. — Париж: УМКА-Press; М.: Русский путь, 1996. — С. 73.

11. Струве П. Б. Размышления о русской революции / П.Б. Струве — Рос. Болгарское книгоиздательство. — София, 1921. — С. 17.

Рецензент — Т.В. Лебедева.

Статья принята к печати 21.12.2006.